

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ СКАБИЧЕВСКИЙ

НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ
РАБОТЫ. «РАССВЕТ».
«ИЛЛЮСТРАЦИЯ».
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Александр Михайлович Скабичевский

Начало литературной работы. «Рассвет». «Иллюстрация».

Педагогическая деятельность

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22136381

Начало литературной работы. «Рассвет». «Иллюстрация».

Педагогическая деятельность: 1907

Аннотация

«...Уже на университетской скамье многие из нашего кружка начали обнаруживать литературные наклонности и в свободные от университетских занятий часы пописывать не только для самих себя, но и для публики. Писали мы и рецензии для «Отечественных Записок», делали переводы (между прочим, перевели сообща «Саламбо» Флобера, а я, сверх того, исправляя слог перевода «Макравиотики» Гуфеланда). В 1862 году в «Отечественных Записках» появилась моя драма в пяти действиях под заглавием «Круглицкие». Долго я возился с этой злополучной драмой, терпя различные fiasco: и обсчитали-то меня в «Отечественных Записках», так как обещались заплатить рублей 300, а заплатили всего 200, без церемонии заявивши, что никак не воображали, что драма выйдет в печати такая большая, а новичкам они так много не платят. Затем, мечтая видеть свое

детище на сцене, обращался я и к Максиму I и очень был удивлен, увидя этого знаменитого в то время jeune premier и любимца публики в виде пожилого господина с сморщенным смуглым лицом и с черными зубами...»

**Александр Михайлович
Скабичевский
Начало литературной
работы. «Рассвет».
«Иллюстрация».
Педагогическая
деятельность**

Уже на университетской скамье многие из нашего кружка начали обнаруживать литературные наклонности и в свободные от университетских занятий часы пописывать не только для самих себя, но и для публики. Писали мы и рецензии для «Отечественных Записок», делали переводы (между прочим, перевели сообща «Саламбо» Флобера, а я, сверх того, исправлял слог перевода «Макравиотики» Гуфеланда). В 1862 году в «Отечественных Записках» появилась моя драма в пяти действиях под заглавием «Круглицкие». Долго я возился с этой злополучной драмой, терпя различные fiasco: и обсчитали-то меня в «Отечественных Записках», так как обещались заплатить рублей 300, а заплатили всего 200, без церемонии заявивши, что никак не воображали, что драма

выйдет в печати такая большая, а новичкам они так много не платят. Затем, мечтая видеть свое детище на сцене, обратился я и к Максиму I и очень был удивлен, увидя этого знаменитого в то время jeune premier и любимца публики в виде пожилого господина с сморщенным смуглым лицом и с черными зубами. Обращался я и к Ивану Федоровичу Горбунову, тогда еще молодому человеку, который очень меня обласкал, но дипломатично отклонился от принятия моей пьесы для своего бенефиса.хлопоты мои прекратились лишь тогда, когда театральная цензура забрала мою драму. Театральная цензура имела полное основание сделать это с пьесой, которая вместе с юношеским задором обнаруживала и столь же юношескую незрелость. Как ни элементарны вкусы публики Александрийского театра, тем не менее она все-таки была бы удивлена при виде канцелярского служителя, обитателя Галерной гавани, свирепо убивающего кинжалом своего начальника отделения, чтобы заступиться за поруганную честь своей сестры. Но я в то время никак подобных резонансов принять в соображение не мог и считал себя глубоко обиженным и оскорбленным, в своем роде мучеником за правду.

Но главным нашим литературным убежищем был журнал для девиц «Рассвет», издававшийся в конце 50-х и начале 60-х годов г. Кремпиным. Кремпин был довольно еще молодой человек, военный; судя по тому, что он жил в одной из глухих улиц Петербургской стороны, надо полагать, что он

занимал какой-нибудь педагогический пост в одном из находившихся в той местности кадетских корпусов. Жил Кремпин в своей глуши, сколько мне помнится, очень скромно, и как место редакции, – не то в какой-то Плуталовой, не то в Беззаборной улицах, – так и вся обстановка редакции не представляли собой ничего блестящего. Но зато сколько радужных мечтаний проносилось, конечно, при открытии журнала в голове издателя, разгоряченной поднятием общественного духа в то достославное время. Тогда не было еще никаких женских курсов, ни даже женских гимназий, и большинство русских девушек, получавших домашнее воспитание, были вполне кисейными барышнями. Женский вопрос только-только что был поднят и на практике осуществлялся лишь в виде пресловутого «развития» женщин. Забыты были в то время и кадрили, и вальсы, и кавалькады, и общественные гулянья. Вместо того чтобы ухаживать за барышнями, молодые люди взапуски пустились развивать их посредством умных разговоров и чтения передовых мыслителей – русских и европейских. После первых же двух-трех слов приветствий у молодых людей появлялись уже на языке имена: Белинский, Грановский, Герцен. «А прочли «Накануне»? – А статья «Темное царство» – что, а? Какова?.. Не читали? Ах, какой стыд! Я завтра же вам ее принесу...»

Казалось бы, что издание журнала, специально предназначенного для развития девиц, было как нельзя более кстати в это горячее время и вполне, так сказать, уловляло момент.

Недаром издатель на светло-желтой обертке журнала печатал постоянно тенденциозную виньетку, изображавшую покоящуюся утренним сном красавицу, над которой сияли лучи восходящего солнца. Но, как часто бывает в жизни, уловляют моменты совершенно неожиданно-негаданно такие издания, которые вовсе к этому не прилагают никаких стараний; издания же, специально предназначенные с целью уловления момента, терпят постыдное и, вместе с тем, обидное крушение. Обыкновенно при этом выходит так, что были предусмотрены все шансы успеха; один лишь был упущен из вида, а тот именно шанс и оказывался самой главной причиной неудачи.

Впрочем, относительно «Рассвета» нельзя даже сказать, чтобы все шансы были предусмотрены. Начать с того, что журнал, по всем видимостям, издавался на самые скудные средства. Ахнул ли в настоящем случае капиталец, полученный Кремпиным в приданое за женой, или это были его собственные скромные сбережения, но, очевидно, была поставлена ребром последняя копейка, которая и оказалась копеечкой в буквальном смысле. Иначе, чем же было объяснить, что в сотрудники приглашались не какие-нибудь известные и почтенные литературные имена, а начинавшие студенты. Но и это был не главный еще шанс неуспеха «Рассвета». Начинаются же издания порой и без всяких средств и быстро становятся на ноги, приобретая тысячи подписчиков. Главная же ахиллесова пята журнала заключалась в ошибке рас-

чета именно на ту самую женскую молодежь, для которой журнал предназначался. Издатель упустил из виду, что наша русская молодежь исстари привыкла, едва выйдя из детских лет и вступивши в отрочество (т. е. с 15 лет), набрасываться на те книги, которые читаются взрослыми: на русских и иностранных классиков, на получаемые родителями журналы и т. п. Прочтите биографии всех выдающихся русских людей XIX столетия, и вы увидите, что всегда это было и, вероятно, всегда так и будет. Не говоря уже о том, что вполне естественно у мальчика или девочки с пятнадцати лет является неудержимое стремление корчить из себя взрослых в гораздо большей степени, чем сами взрослые, – книги, читаемые старшими, потому уже более привлекательны, что составляются первыми талантами страны, а не неизвестными педагогами и начинающими студентами. От книжек, специально предназначавшихся для чтения юношества, пахнет чем-то казенным, принижающим и заставляющим юношу чувствовать себя недорослем, неспособным еще понимать то, что читают взрослые. Подумайте, как это обидно! В силу всего этого у нас могут иметь успех детские журналы, но предназначаемым специально для юношества всегда будет угрожать равнодушие этого самого юношества.

Особенно же трудно было бороться с этим равнодушием «Рассвету» Кремпина, издававшемуся как раз в такое горячее время, когда подростки в 13–14 лет, под влиянием усердных развивателей, хватались за Белинского, Грановского и

новые книжки журналов. В то время молодой человек, увидя в руках барышни тоненький журнальчик Кремпина с его пикантной виньеточкой, первым делом спешил ехидно осмеять барышню, занимавшуюся такой игрой в куклы, и спешил подsunуть ей иное, более внушительное чтение. При таких условиях «Рассвет», я уже не помню, выдержал ли пять лет существования и, подобно несчастному любовнику, погиб в борьбе с равнодушием прекрасного пола, на благосклонности которого он основал все свое существование.

Не помогли «Рассвету» все наши юношеские усилия, ни статьи Писарева, успевшего уже на страницах этого журнала обратить на себя внимание и публики, и прессы, ни начинания г. Михайловского, в свою очередь начавшего свою литературную деятельность под крылышком Кремпина, но вполне независимо от нас, так что мы даже и не подозревали о его существовании и сотрудничестве с нами. Впрочем, у Кремпина никаких редакционных собраний не было, и с каждым сотрудником он имел дело отдельно: придешь, застанешь его всегда в одиночестве, принесешь статейку, получишь скудный гонорар – и дело с концом.

После окончания курса в Петербургском университете в 1861 году, несмотря на степень кандидата, мне пришлось, по крайней мере, лет пять колотиться, как рыба об лед, снискивая самое скудное пропитание случайными заработками, имея к тому же на плечах мою милую и добрую матушку. Пробивался я уроками, служил даже несколько месяцев в од-

ной из петербургских канцелярий на десятирублевом жалованье и бежал оттуда, как из ада кромешного, давши себе клятву лучше согласиться умереть от голоду под забором, чем служить в какой бы то ни было канцелярии и при каких бы то ни было условиях. Более всего тянул меня к себе литературный труд, хотя нужда заставляла меня не брезговать ничем, и доходило дело до писания объяснительного текста к картинкам «Воскресного Досуга», иллюстрированной газеты для народа, которую издавал фотограф Бауман, после того как рушилась его «Иллюстрация».

Что касается последнего факта, т. е. разрушения баумановской «Иллюстрации», то мне пришлось принимать горячее участие в ее агонии. До второй половины 1868 года редактором «Иллюстрации», как известно, был В. Р. Зотов. Не знаю уж, что побудило В. Р. Зотова, оставить редакцию «Иллюстрации», но только место его занял теперь уже давно покойный Петр Михайлович Цейдлер, большой друг и приятель А. Н. Майкова, воспетый им в одном из лирических стихотворений как идеальнейший педагог, какого только можно себе представить. Позже мне пришлось в качестве учителя и воспитателя состоять под начальством этого самого П. М. Цейдлера и убедиться, что идеальнейший педагог не в художественной фантазии благодушного поэта, а в живой действительности представлял из себя самого заурядного школьного администратора, не брезговавшего и такими антипедагогическими средствами, как организация шпион-

ства между воспитанниками. Но прежде чем познакомиться с Цейдлером как с педагогом, пришлось мне иметь с ним дело как с редактором, так как я был рекомендован ему А. Н. Майковым в качестве фельетониста и критика, и с сентября 1862 года принял постоянное участие в «Иллюстрации».

В качестве редактора Цейдлер в первое же свидание очаровал меня своим добродушием, утонченнейшею любезностью и гуманностью. Довольно сказать, что с первых же слов он мне, 24-летнему юнцу, ничем еще себя не заявившему, предоставил полную свободу писать, что угодно и сколько угодно. У меня голова закружилась от такой льготы, и я начал работать с таким юношеским жаром, что имел возможность в издании, выходившем раз в неделю, при весьма умеренной плате (5 коп. за строчку), зарабатывать до 150 руб. в месяц. Чего только ни помещал я на столбцах «Иллюстрации»: восхвалял то Снеткову, то Муравьеву, писал рецензии новых пьес, описывал танцклассы, какие в то время были в особенной моде и открывались чуть не на каждом перекрестке; делал характеристики современных литературных знаменитостей, заметки о новых книгах и даже печатал стихи.

И все это Цейдлер помещал без малейших препятствий и помарок. Понятно, что в моих глазах он представлялся идеальным редактором, перед которым мне оставалось только преклоняться. Но я заблуждался, подобно А. Н. Майкову, потому что на самом деле трудно было сделать более

неудачный выбор в качестве редактора П. М. Цейдлера. Может быть, в более юные годы он выказывал большую энергию в своих и педагогических и литературных трудах, но в качестве редактора угасавшего иллюстрированного издания он представлял собой добродушно улыбающегося увальня, очень неохотно покидающего свое комфортабельное кресло перед письменным столом и предоставлявшего журналу полное *laissez faire, laissez passer*. Набрал он с борка да с сосенки первых попавшихся ему юнейших сотрудников, и, что бы они ни писали, все сходило с рук; он, бывало, и глазом не моргнет. Мало-мальски опытный редактор, конечно, не допустил бы такого юнца, каким был я, до писания театральных хроник и характеристик разных явлений общественной жизни, а предоставил бы на мою долю одни критические и библиографические статейки. Цейдлер же, как я имею основание полагать, многого даже и не читал из того, что печаталось при нем в «Иллюстрации», предоставив чтение на долю корректоров. Корректора же, в свою очередь, не читали корректур, о чем можно судить по следующим фактам. Между прочим, был помещен в «Иллюстрации» портрет Некрасова; я написал к этому портрету статейку о нем. Я в то время очень увлекался Некрасовым, и статейка была, конечно уж, самого хвалебного характера. И представьте же себе мой ужас: разбойники наборщики везде, где у меня было употреблено слово «элегии», набрали «ахинеи», – так это и осталось непоправленным, и статья, вместо хвалебно-

го, приняла характер непозволительно ругательный: что же могло быть хуже, как не наименование несколько раз произведений Некрасова ахинейми, и это в панегирической статье к портрету!..

В другой раз те же наборщики заставили меня невольно оскорбить Бурдина, набравши вместо «самодурные роли Бурдина» «самая дурная рожа г. Бурдина», и это, в свою очередь, прошло не замеченным ни корректором, ни самим редактором. Одним словом, в последние месяцы существования «Иллюстрации» редакция представляла собой царство всеобщего сна. При таких условиях газета едва могла дотянуть до апреля 1863 года и тихо скончалась на руках П. М. Цейдлера и его сотрудников, окружавших смертный одр умирающей. Место ее занял скромный и дешевенький «Воскресный Досуг», который Бауман начал издавать специально для народного чтения, а главное дело потому, что у него накопилась масса старых клише за многие годы издания «Иллюстрации»...

«Рыбинский Листок»

После гибели «Иллюстрации» мое материальное положение снова сделалось очень плачевно, так как дешевенькие урочки и писание объяснительных статей к картинкам «Воскресного Досуга» доставляли мне весьма ограниченные средства, и вдруг, в один очень скверный день, когда в кармане моем наиболее свистел и выл буйный ветер, мне открылись в перспективе целые горы золотых россыпей. Неожиданно

данно я получил загадочное письмо от Виктора Павловича Гаевского, знавшего меня лично через своего зятя, а моего сотоварища Петра Николаевича Полевого. В письме этом В. П. Гаевский приглашал меня как можно скорее явиться к нему. Я явился, и Гаевский заявил мне, что в Рыбинске основывается биржевая газета; ищут литератора, который взял бы на себя редакторскую часть газеты, и готовы предложить ему очень почтенное вознаграждение за труды. Так вот, не желаю ли я взять на себя это дело?

На меня, который до того дня и вблизи не видал, как издаются ежедневные газеты, предложение Гаевского произвело такое же ошеломляющее впечатление, как если бы накануне турецкой войны пригласили меня в главный штаб и предложили, не желаю ли я принять на себя должность главнокомандующего над всею русскою армиею. Дело шло мало того чтоб об издании ежедневной газеты, но какой-то еще биржевой, и притом в таком неведомом мне торговом котле, каким представлялся город Рыбинск.

Я, конечно, высказал Виктору Павловичу все сомнения по этому поводу; но он, со своим ораторски-адвокатским даром, вмиг рассеял все эти сомнения.

— Что касается содержания газеты, — приводил он мне свои убедительные доводы, — то это будет вовсе не ваше дело; об этом вам нечего беспокоиться: они сами, эти купцы, которые предпринимают издание, знают, чем наполнить газету сообразно потребностям и нуждам своих торговых дел. Но по-

нимаєте, что все они – полуграмотные; они нуждаются в литературно образованном человеке, который весь материал, имеющийся в их руках, оформил бы, придал ему литературный вид. Придется даже исправлять грамматические ошибки, расставлять где нужно Ъ, где нужно е. Ну, и затем на руках редактора должно лежать самое ведение газеты, расположение статей, корректура, своевременный выход номеров и т. п.

– Вот этой-то газетной механики я и не знаю совсем, – возражал я. – Никогда даже и вблизи не приходилось видеть, как составляются газетные номера...

– Да это такое простое и пустое дело, что стоит присмотреться к нему два-три дня, и вы тотчас же поймете, в чем суть. Затрудняться этим даже смешно. И пособить этому горю как нельзя более легко. Я вам сейчас напишу письмо к Валентину Федоровичу Коршу. Он, конечно, с удовольствием допустит вас присутствовать при составлении номеров. Вы можете оказать ему даже пользу, продержав какую-нибудь спешную корректуру. Два-три дня ходите и увидите, что на четвертый день вам ничего не будет стоить хоть самим единолично составить номер «С.-Петербургских Ведомостей»...

Но не столько, конечно, убедило меня красноречие В. П. Гаевского, сколько мое собственное желание подчиниться доводам его. Так голодно и холодно жилось мне без малейшей уверенности, буду ли я сыт завтра, что перспекти-

ва стать во главе газеты и сделаться редактором ее с гонораром, по крайней мере, в две тысячи рублей, а может быть, и больше, могла закружить голову молодого человека хотя бы в видах одного материального обеспечения, не говоря о всем прочем. По крайней мере, я шел от Гаевского, не слыша земли под собою и крепко сжимая в руке два рекомендательных письма, лежавших в моем кармане: одно было В. Ф. Коршу, другое – Ивану Александровичу Жукову, который готовился в то время издавать «Рыбинский Биржевой Листок» и искал редактора, который знал бы, где следует ставить букву [фита], где букву е. К нему-то и направлял я свои стопы.

Рекомендательное письмо, которое должно было свести меня с будущим издателем «Рыбинского Листка», было написано Гаевским не прямо Ивану Александровичу Жукову, а к какому-то его знакомому, фамилия которого не осталась в моей памяти. Помню только, что где-то, не то в Коломне, не то на Песках, спотыкаясь по темной, узкой и грязной лестнице и представляя собой олицетворение человека, взбирающегося по скользким и опасным ступеням славы и богатства, я поднялся в третий этаж и не без тревоги дернул за ручку звонка, еще раз ощупавши в кармане письма, не выронил ли я их, взбираясь по лестнице. Дверь отворилась, и я, в сопровождении молоденькой горничной, вошел в переднюю. В передней дорогу мне загораживала игрушечная лошадка с оторванным хвостом и мордой и нестерпимо пахло детскими пеленками. Я преодолел все эти атрибуты семейной жиз-

ни и, передавши пальто горничной, вошел в залу, где меня встретил сам хозяин.

Это был среднего роста и средних лет господин с чиновничьим отпечатком на лице, сухощавый, с угловато-нервными движениями и жилистый до такой степени, что напоминал тех кровавых людей с ободранной кожей, какие рисуются в анатомических атласах.

Лицо его, и без того вытянутое, еще более вытянулось, и жилки натянулись на лбу, пока он глубокомысленно читал рекомендательное письмо, но, когда кончил чтение, черты лица обратно съежились, – и он просиял.

– Садитесь, – сказал он добродушным тоном, – не угодно ли папиросочку, сигарочку, чайку?.. Хе, хе, хе!.. Так вы от Виктора Павловича? Очень рад, очень рад-с! Да-с, я просил его. Он такой добрый... Уж если он рекомендовал, так уж это, конечно, нечего и говорить. Уж я уверен, что вы не скомпрометируете ни Виктора Павловича, ни меня.

– Вероятно, Виктор Павлович не рекомендовал бы меня, если бы ожидал, что я скомпрометирую его, – отвечал я, садясь.

– Так-с, так-с, конечно. Уж если Виктор Павлович, так чего лучше! А вы русский?

Надо заметить при этом, что вопрос этот был сделан неспроста. Дело было в 1864 году, т. е. на другой год после польского повстанья и в то время, благодаря моей фамилии на -ский, многие задавали мне такой вопрос.

– Я русский, – отвечал я, – мой отец был хохол. – Ну, вот и прекрасно!.. Чего же лучше-с?.. хе!.. хе!.. хе!.. В самом деле? А ведь и я хохол.

– Я вам завидую, право, – продолжал он после некоторого молчания, – ведь вы оттуда богачом приедете...

– Вашими бы устами да мед пить...

– Помяните меня, что богачом! Там ведь все бородачи-миллионеры. Вы там, поди-ка, порастрясете кошельки-то у них!.. хе!.. хе!.. хе!.. Кабы не служба, да не семья, я бы и сам туда поехал, непременно поехал... Ну да я как-нибудь летом урвусь, приеду к вам стерлядей поесть.

– Милости просим, буду ждать.

– А вот сейчас придет и Андрей Иванович Жуков – дядя того купца, что думает газету издавать. Я вас с ним и познакомлю. Это, я вам скажу, замечательный человек – советую обратить внимание на него. Он хлебными подрядами нажил миллион, потом обанкротился и теперь снова наживает миллион. При дворе его знают. Но человек, надо вам сказать, в то же время честнейший. Люди его обижают, а сам он не обидит и курицы. А сила, я вам скажу, у него такая, что он кочерги гнет, как тросточки, а подковы, что твои бисквиты.

А. И. Жуков был легок на помине; раздался звонок, и в комнату явился высокий, дюжий купчина, косая сажень в плечах. Но толстота его была не обыкновенная, купеческая, рассыпчатая и дряблая, а мускулистая, богатырская: он был весь словно вылит из железа. Размеры тела его, ручищи, но-

жищи поражали свою массивностью. Он был одет по-европейски, брил бороду и носил старомодное жабо, напоминая собой не столько русского купца, сколько французского или английского фабриканта, буржуа 30-х годов.

Хозяин отрекомендовал меня ему, назвавши по имени и отчеству.

– Прошу быть знакомыми, Александр Михайлович, – произнес Жуков, сжимая в своей железной деснице мою руку, – любить да жаловать!

– Тоже малоросс, как и я, – заметил хозяин.

– Ну, что же, и отлично! Малороссы – люди честные, а в этом деле нам нарочито нужен человек честный. Через ваши руки будут проходить тысячи, – говорил Жуков медленно и с расстановкой.

– Их рекомендовал Виктор Павлович Гаевский.

– Какой это такой Гаевский?

– А это очень почтенный и уважаемый человек, в молодых летах и генерал, сын сенатора, – сказал хозяин внушительным тоном.

– Ну, коли сын сенатора и сам генерал, конечно, уж он знает, кого рекомендует. А то мой племянник откуда-то двух литераторишек выкопал, оборванные такие. Черт их знает, на лбу у них не написано, что они литераторишки. Хоть бы в паспортах прописывали! А то, может быть, и ни на есть какие мазурики! Такие запивохи оказались, – не знали мы, как от них отделаться, деньгами готовы были откупиться.

– Они в разных газетах и журналах участвовали, – заметил обо мне хозяин.

– Значит, знает всю эту газетную процедуру?

– Знаю, – отвечал я, – насколько могу быть вам полезен.

– Вот эта самая суть-то и есть. Где же моему племяннику справиться самому? От барок да от хлеба пришло вдруг в голову людей смешить, газету печь. Очень приятно с хорошим человеком познакомиться. Вы холостой?

– Холостой.

– Значит, мы вас там женим на богатой купчихе. Смотрите, счастье себе у нас там составите. Родные есть у вас?

– Есть, матушка.

– С ней и живете?

– Да, с ней.

– Ну, значит, и ее тащите с собой. Главное дело, умейте только поставить себя с купцами – первый человек будете, шапки вам будут снимать на улице. Еще бы!.. Нужный человек: в ваших руках будут все торговые объявления, что кому нужно, все к вам будут обращаться. Ну, а жизнь там дешева так, что не будете знать, куда и деньги девать, – не закутите только. Стерляди там ни по чем: когда хороший лов, по улицам валяются...

В таком роде долго еще продолжался разговор. Жуков дал мне адрес своего племянника, сказал, чтобы я на другой день утром часам к 11 пришел к нему, и что он сам там будет и представит меня.

На другой день равно в 11 часов я был у Ивана Александровича Жукова. Он остановился в грязненьком извозчищем трактирчике в Толмазовском переулке, носившем прозвание родного его города – «Рыбинск». Вонь, грязь и масса пьющих чай извозчиков, – в первый раз в жизни пришлось мне попасть в такую трущобу. Пройдя сквозь строй пьяной ругани самыми отборными непечатными словами, я наконец отыскал грязненький номерок, занимаемый Иваном Александровичем.

Из вчерашней беседы с дядюшкой я составил себе понятие о племяннике, как о молодом купеческом саврасе с едва пробивающимся пухом, и очень удивлен был, встретя человека не первой уже молодости, лет за тридцать, с крупными чертами лица и рыжеватой окладистой бородкой. Значительно уступая дядюшке в дородности и богатстве, он все-таки представлял собой топорно, но плотно скроенного мужчину, который если и не был способен гнуть кочерги, то свалить человека с ног ударом своего громадных размеров кулачища, конечно, мог без малейших усилий. В нем не было той полированности и культурности, какая из дядюшки его делала нечто похожее на западного буржуа. Он представлял собой типического волжского купца, вдоволь погулявшего и вниз, и вверх по матушке по Волге и на расшивах, и на баржах, и на пароходах. Немецкое платье сидело на нем с такой мешковатостью, что, глядя на него, вы забывали, что оно немецкого покроя; брюки выглядели шаровара-

ми, длиннополый сюртук – кафтаном, вместо белья из-под жилетки вылезала цветная ситцевая косоворотка. Образная, характерная, исполненная пословиц и метких приговоров в рифму речь его носила вполне местный акцент с ударением на о.

Он мне с первых же слов очень понравился. От всей его фигуры так и веяло каким-то необъятно широким простором. В голосе его было много задушевности и искренности. Он встретил меня очень радушно, чуть ли даже не поцеловал, если память мне не изменяет. Затем тотчас же объявил, что дядюшка его не придет, но что он успел уже рекомендовать ему меня, и наговорил мне много лестного... Затем Жуков тотчас же соорудил обед с водками, закусками, винами – и у нас сразу установились самые задушевные, дружеские отношения.

При первом же свидании он с подкупающей откровенностью сообщил мне, что учился на медные деньги, можно сказать даже, что и совсем не учился, – словом, не выучился даже грамотно писать, что много обид и притеснений вынес он от своего любезного дядюшки, который воспитал его с детства в ежовых рукавицах и ежедневно так гнул в дугу, что у него все косточки и суставчики трещали; что изъездил он Волгу-матушку вдоль и поперек от Твери до Астрахани и как свои пять пальцев знает всю жизнь приволжских местностей во всех ее слоях, в кулаке всю ее держит, знает такие вещи, какие никому из господ литераторов и не снились. Много

распространялся он и о своем предприятии – издавать в Рыбинске газету, заявляя о том, что он намерен издавать газету отнюдь не для богатых, которые вовсе ни в какой газете не нуждаются, а, напротив того, она им станет поперек горла, так как вся торговля рыбинская основана на тайне, на никому не ведомых плутнях и подвохах, и газета будет страшна не одними обличениями этих подвохов, а прежде всего простыми сообщениями цен на разные товары и в разных местностях, – эти сообщения равно доступны для каждого грамотного человека, кто только возьмет в руки газету. Ох, как рыбинским воротилам будет не по вкусу! Вся рыбинская торговля сплошь основана на прижимке богатыми бедного человека, и не одного бурлака или крючника, а и крупными хлеботорговцами мелкими, – и мы должны будем первым делом восстать против этой вековой несправедливости и постараться вырвать ее с корнем... Трудное это дело, что и говорить; много придется нам вынести самой тяжелой борьбы; но Бог не выдаст – свинья не съест, и если нам удастся выйти победителями, весь Рыбинск будет у нас в руках и придет к нам поклониться в ножки...

Столько было во всех этих речах подмывающего энтузиазма, что у меня буквально кружилась голова. Долее всего увлекали меня в речах Жукова, конечно, его мечты сделаться заступником бедных против прижимки богатых; я видел в этом самородный демократизм русского самоучки и со всем пылом молодости готов был отдать этому благому делу.

Что касается материальной части, то Жуков уверил меня, что газета может существовать год-другой и совсем без подписчиков, так как богатый дядюшка дал слово поддержать ее, да и, поверьте, в Рыбинске найдутся у нас сторонники среди богатых купцов; не все же они плуты, найдутся и такие, которые с радостью поддержат доброе дело. В одном Питере наберется у нас тысяча-другая подписчиков, потому что каждому купцу здешнему лестно узнать, почему продается хлеб в Рыбинске сегодня.

Что касается моих условий, то Жуков определил мне на первых порах по 100 руб. в месяц, обещая прибавить гонорар с каждой новой тысячи подписчиков, и сверх того чистый доход со всех печатаемых в газете объявлений будет составлять мою неотъемлемую собственность. «А ведь вы подумайте, – говорил при этом Жуков, – торговая газета в таком городе, как Рыбинск, – да нас с первого же дня засыпят объявлениями. Вы и глазом не моргнете, как сделаетесь богаче Журавлева и Полежаева!...»

Увидевшись со мной еще два или три раза и условившись окончательно, что он вышлет мне деньги на отъезд и извещение о том, когда мне ехать в Рыбинск, Жуков вскоре уехал из Петербурга, а я весь отдался предстоящему делу.

Первым делом я направил свои стопы к В. Ф. Коршу с письмом Гаевского, предполагая присмотреться к газетному делу. Но В. Ф. Корш, приняв меня довольно любезно, в то же время прямо заявил, что он решительно не в состоянии

исполнить мою просьбу и не знает, что ему со мной делать, издание газеты – дело сложное, требующее такого дробного разделения труда, которое приравнивает его к фабричному производству. Газетный номер сооружается одновременно не только в нескольких комнатах, но и в разных концах города. Если бы он, сам издатель, захотел проследить, как составляется номер во всех его деталях, он был бы не в состоянии. Одним словом, у сотен человек, начиная с редакторов и кончая наборщиками, у каждого свое маленькое дело, и каждый молча совершает его, как заведенная машина, – и как бы я ни присматривался к людям, копающимся в бумагах или вокруг печатных станков, ничего я не усмотрю. К тому же издание маленькой биржевой, провинциальной газеты совсем не то, что большой столичной, требует совсем других масштабов, иного, более скромного числа работников, – и дело вовсе не особенно головоломное, но научить этому делу может одна практика.

Так я и ушел от Корша, что называется, не солоно хлебавши. Но я не унывал. Я все время ходил как в тумане. Могли ли меня смущать такие пустяки, как техника составления газетных номеров, когда в своих радужных мечтах я воображал себя исполином, ворочающим не только всем Рыбинском, но и всей Россией? Я никогда не забуду, как однажды я беседовал с одним другом-приятелем в «Старом Палкине» за бутылкой пива о предстоявшей поездке, и как, ударив по столу допитым стаканом, он произнес:

– А завидую я тебе: ты – сила!

И я вполне веровал тогда, что действительно – я сила, да еще и какая!..

Были, впрочем, люди, которые скептически смотрели на все это дело. Более всего они пеняли мне, зачем я не заключил с Жуковым формального условия, а довольствовался одними его словесными обещаниями. На словах, конечно, ничего не стоит наобещать горы золотые, а что окажется на деле, Господь его ведает. А наши купцы, особенно рыбинские, – обещать все большие мастера; все они умеют мягко стлать, да каково-то будет спать!..

Но эти благоразумные речи отскакивали от меня, как от стены горох.

– Смешно было, – возражал я, – заключать условие на пустом месте, когда дело еще не начиналось, а я вовсе не такой заявивший себя специалист, чтобы Жуков вперед мог знать, что на меня можно положиться; может быть, я окажусь и несостоятельным. А вот как только пойдет газета, так я потребую формального условия.

Едва-едва уговорили меня оставить на время в Петербурге матушку и потом уже, когда дело пойдет на лад и я обживусь в Рыбинске, выписать ее. Впрочем, благоразумным людям пришлось уговаривать и ее самое, так как, с одной стороны, ей горько было в первый раз в жизни расставаться со мной, а с другой – она и сама так увлекалась моими гордыми мечтами, а более всего дешевизной жизни в Рыбинске и ва-

ляющими на улице стерлядями, что начала входить во все подробности нашего будущего обзаведения в Рыбинске.

– Пожалуйста, только, чтобы квартира была сухая, теплая, – говорила она, точно как будто я шел уже нанимать квартиру, – комнатки три довольно будет, да чтобы кухня была светлая, да чтобы русская печь была. Да также чтобы и от рынка было недалеко, и от бани, и от церкви. Оттого и в церковь ходишь редко, что далеко, – а там я буду все ходить да молиться, все молиться...

Затем матушка начала закупать местные полотна и ситцы, которые там наверно вдвое дешевле, чем в Петербурге. Наконец, картина рыбинской жизни начала представляться ей в таком светлом виде, что на нее напал страх: а что если это не сбудется.

– Я так стара и слаба, – куда мне вынести такую далекую дорогу! Я же никуда не ездила! И кончится все это тем, что повезешь ты меня здоровой, а привезешь вместо матери один холодный труп, чтобы схоронить меня Бог весть где на чужедальной стороне.

И при этих словах матушка заливалась горькими слезами.

Между тем от Жукова не было и не было никакого ответа. Прошла святая неделя; наступил апрель, а от него все ни слуху, ни духу. Наконец в половине уже апреля получил я такое лаконическое письмо: «Приезжайте в Рыбинск; деньги на отъезд возьмите у дядюшки».

Я тотчас же отправился к дядюшке. Но тот принял меня

довольно сухо и наотрез отказался выдать мне прогонную сумму.

– Я, действительно, – сказал он, – выдал племяннику на обзаведение газеты субсидию, какую только был в состоянии, но далее затем ни в каких мелочных расходах его по газете принимать участия не желаю.

Благоразумные люди опять приступили ко мне с увещаниями бросить это дело и шагу не делать из Петербурга, пока Жуков не вышлет денег. Но легко было сказать – бросить такое заманчивое дело, какое сулило мне необъятно-колоссальную будущность, и опять обречь себя на неверное существование впроголодь! После того как меня провозгласили силой и начали смотреть на меня с завистью снизу вверх, опять обречь себя на жалкое ничтожество, обратиться в пролетария, пишущего объяснения к картинкам «Воскресного Досуга»!

Нет, это было немислимо, и я решился на такой поступок, который заставил благоразумных людей только ахнуть и махнуть на меня рукой. Я поехал-таки в Рыбинск на занятые мною у одного родственника двадцать пять рублей, и когда тронулся поезд Николаевской железной дороги, увозивший меня от плакавшей навзрыд матушки, чувствовал себя не то Наполеоном, не то Вашингтоном.

«Рыбинский Листок» (продолжение)

Несмотря на то что апрель был уже в конце, погода в тот день, когда я выехал в Рыбинск, была адская: бушевала чи-

сто зимняя вьюга, и когда я подъехал в Твери, поля были покрыты снегом. Казалось, таким образом, сама природа возмущалась моим отчаянным поступком и не предвещала ничего хорошего впереди, но я не робел и с нетерпением ждал, когда предстанет предо мною Рыбинск, суливший мне столько благ.

Но вот приехал я и в Рыбинск, поднялся вверх с пристани со своим тощим скарбом, остановился в одной из бесчисленных гостиниц Рыбинска и отправился искать Жукова. Нелегко было мне производить свои поиски в той сутолоке, какую представляет Рыбинск в весенние и летние месяцы, так как адреса Жукова я не знал, а он вовсе не представлял собой такой известности, чтобы каждый встречный мог указать его местожительство. Но я преодолел все эти трудности, причем я был несколько озадачен, когда, добравшись наконец, не помню уж теперь, до каких людей, знавших Жукова и где он обитает, я заметил нескрываемую презрительную иронию, с какой о нем говорили. Но еще более я был озадачен, когда, найдя наконец своего хозяина, я не только не был заключен им в объятия, но вместо выражения ожидаемой мной радости он встретил меня такими словами:

- А я уж думал, что вы совсем не приедете!..
- Как же так? Я вам, значит, не нужен?
- А пожалуй, что будет и так. Дело дрянь у нас выходит...
- Что такое?..
- Да все, кажись бы, готово, хоть завтра выпускай газе-

ту – за малым остановка. Можете представить себе: печатать негде, типографии нет!

– Как же это так? Ведь вы же мне говорили, что в Рыбинске имеется типография?

– Левикова-то? Имеется она, имеется, да только эта типография не только что газеты и маленькой брошюрки в десять страничек не напечатает нам... Да оно и понятно, нечего с нее и требовать. Ведь в Рыбинске-то, почитай что с сотворением мира, ни одна еще книжка не выходила; сюда и из других-то более просвещенных мест редко какая книга привозится, да и та долго не залеживается, неизвестно куда исчезает, должно быть, на папиросы, да на папильотки истрачивается. Одним словом, этого товара у нас не требуется, а существует у нас типография для своей собственной надобности: только и печатаем, что приходо-расходные книжки, купеческие счета да ярлыки, более ничего с нее не спрашивают!

– Да как же так? Значит, вы раздумали издавать газету?

– Да, выходит так, что хоть бросай дело!.. Остается нам сделать еще попытку – не удастся, тогда уже не прогневайтесь!..

– Что же такое?..

– Попробовать издавать газету в Ярославле.

– «Рыбинский Листок» в Ярославле?

– Да что же вы будете делать!.. В Ярославле какая ни на есть да имеется казенная типография, печатающая «Губерн-

ские Ведомости». Может быть, она возьмется печатать и нашу газету. Вас я тогда посажу в Ярославле – вы там и будете орудовать газету, а я буду жить в Рыбинске и доставлять вам ежедневно весь материал самолетским пароходом. Так мы и промаемся летние месяцы до закрытия навигации, а это самое у нас жаркое время для газеты. Удастся нам в это время поставить ее на ноги, так будет видно, что делать: может быть, и свою типографию какую ни на есть сварганим, может быть, и Левикову поможем запасть шрифтом, да скоропечаткой... Одним словом, ступайте, да отдохните с дороги, а завтра же, чуть свет, поедem в Ярославль.

Так мы и сделали. Приехав в Ярославль, мы остановились в какой-то невероятно грязной «Росписной» гостинице и действительно принялись хлопотать о газете. С губернской типографией Жуков уладил дело без малейших затруднений; материалу он привез с собой из Рыбинска номера на четыре, и 2 мая 1864 года вышел первый номер нашей газеты. Надо заметить при этом, что «Рыбинский Листок» должен был выходить лишь три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам, так что та система, какую придумал Жуков, – именно: присылку материала из Рыбинска в Ярославль через самолетский пароход, ежедневно приходящий в Ярославль с верха в 10 часов утра, – была осуществима, хотя во всяком случае представляла собою нечто фантастичное. В самом деле, представьте себе только газету, издающуюся не в том самом городе, для которого она предназначена, а за 80

верст от него, причем весь состав газеты, прежде чем дойти до редактора и типографии, должен совершить восьмидесятиверстное плавание в каюте капитана самолетского парохода. Конечно, только в России и возможны подобные необыкновенные комбинации!

Каждое утро, таким образом, к десяти часам я отправлялся на пароходную пристань и с нетерпением ждал заветного пакета со статьями. Затем я возвращался домой и принимался за редакторскую обработку рукописей, которые по большей части были столь безграмотны, что приходилось переписывать их сызнова. Обработанные таким образом рукописи я нес в типографию и т. д.

Кроме Жукова, орудовавшего в Рыбинске, и меня – в Ярославле, штат нашей редакции состоял еще из двух человек: у Жукова в Рыбинске был свой помощник, у меня – свой. У Жукова помощником был какой-то рыбинский обыватель – разночинец, прославившийся уголовным делом мелодраматического характера. Он был прежде сельским священником, но имел слабость влюбиться в одну девушку, не знаю уж какого происхождения и сословия. И вот в один прекрасный день произошел следующий ужас: он пошел со своею матушкою-попадьею в баню, а оттуда вернулся один; матушка оказалась с ног до головы обваренною кипятком до того сильно, что сразу там же в бане отдала Богу душу. Началось следствие, но по старым судам, так как никаких ни свидетелей, ни улик его преступности не было, он же настаивал на

своей невинности, уверяя, что матушка сама нечаянно обва-
рилась, его оставили лишь в подозрении и лишили священ-
нического сана, а ему это было и на руку, так как он немед-
ля женился на своей возлюбленной. Я не больше двух-трех
раз видел этого человека, и очень он показался мне несимпа-
тичным своими бегающими, рысьими глазками, угловатыми,
нахальными манерами и циническими речами. Так, напри-
мер, он беззастенчиво сознался, что лишь бы ему сколотить
тысчонку-другую, он живо разбогател бы, так как не ел бы,
не пил, а все деньги поставил бы ребром в рост, а в Рыбин-
ске на этот счет лафа: такие можно процентики собирать, о
каких в других местах и не снилось.

Что же касается его второй жены, то я видел ее один толь-
ко раз, и она меня положительно озадачила: представьте се-
бе, мало того что красавицу ослепительной южной красо-
ты, но честную натуру, обладающую несомненно крайне чут-
кою душою. Все в ней дышало нравственным благородством,
каждое слово, каждое движение ее супруга видимо коробили
ее и возмущали, и она заметно страдала, нисколько не скры-
вая этого. Спрашивается, что свело эту странную чету лю-
дей, столь мало похожих друг на друга? Как могла увлечься
она хоть минутно таким отвратительным человеком, и тем
более выйти за него замуж, после того как он переступил че-
рез труп своей жены?.. И что с нею случилось потом? Так это и
осталось для меня неразрешенной загадкой.

Моим помощником был ярославский мещанин Ухов. Су-

хой, белокурый, с длинным птичьим носом, выдававшимся вперед, это был расторопный и покладистый человек на все руки. Чем только ни был он при мне и чего он ни делал: он был и самым ревностным моим слугою, ставил самовары, чистил сапоги, платье, бегал в лавочку. Выходил номер газеты – он отправлялся в типографию и на своих плечах приносил на мою квартиру полторы тысячи экземпляров ее; затем запаковывал газету в заранее приготовленные бандероли и нес на почту, а сдавши газету на почту, отправлялся по городу разносить номера ярославским подписчикам, которых было, правда, не более 20, 30, но жили они в разных концах довольно обширного города. Кончивши это дело, он принимался за переписку исчерканных мною вдоль и поперек рукописей. Он пытался даже войти в состав сотрудников «Рыбинского Листка» и написал, не помню уж, какие-то стихи, но тут положен был предел его энциклопедической деятельности, так как стихи, конечно, уже оказались вполне домашнего, ярославского приготовления.

Говоря о желании Ухова попасть в состав сотрудников «Рыбинского Листка», я не мог при этом не рассмеяться в своей душе над словом состав, которое может ввести в невольное заблуждение читателей. Они подумают, что и в самом деле у нас был какой бы то ни было состав сотрудников. Ничего этого не было: кроме трех-четырех случайных корреспондентов, вроде пошехонского поэта-самоучки Саввы Яковлевича Дерунова, весь состав сотрудников сосре-

доточивался в лице самого Ивана Александровича Жукова, который доставлял мне из Рыбинска и собираемые им биржевые цены, и фельетоны, и полемические заметки, и целые повести и романы. О чем только ни писал он в продолжение двухмесячного существования газеты: и о рыбинских трактирщиках, и о рыбинских дровокатах, и о рыбинских гуляньях, театральных зрелищах, скандалах на бирже, купеческих надувательствах и т. п. Все это он излагал топорно, крайне безграмотно, но не без юмора и довольно живо, так что если бы ему получить образование и напрактиковаться, из него мог бы выработаться писатель не без таланта.

Иногда он наезжал ко мне в Ярославль и каждый раз при этом истреблял такое невероятное количество чаю, что Ухов едва успевал сменять раз до десяти самовар за самоваром. Но Жуков не ограничивался одним чаепитием; замечательно, что я никогда не видал его без полуштофа на столе. Как только приезжал он, так сейчас же Ухов летел за двумя-тремя полуштофами, и все время Жуков не переставал выпивать рюмку за рюмкой с такой же аккуратностью, с какой мы выкуриваем за папирской папиросу. Сначала он несколько совестился передо мной и ссылался на зубную боль, но затем пил без всяких церемоний. И замечательно, что при этом я никогда не видал его пьяным. Это был поистине какой-то богатырь, которому ничего не стоило выпить чару вина в полтора ведра.

Интересно было бы знать, неужели и во всю последующую

свою жизнь он продолжал с таким же усердием приносить столь обильную лепту винному акцизу, и это нисколько не помешало ему дожить чуть не до шестидесяти лет! Иногда по приезду Жукова в Ярославль у нас случалась очень спешная работа: нужно было во что бы то ни стало сегодня наполнить номер, выпускаемый завтра, а в материале оказывался недостаток. Тогда Жуков тотчас же принимался писать импровизированный рассказ, и у нас закипала жаркая работа втроем: Жуков напишет лист, передает мне, я его исправляю, передаю Ухову, а тот переписывает набело. Такая работа среди ночи и глубокого сна всего Ярославля совершенно уподобляла нас трем паркам, прядущим нить жизни.

Проживя в «Росписной» гостинице не менее месяца в непрестанной борьбе с клопами, тараканами и даже крысами, скакавшими по ночам через меня и таскавшими у меня свечи, – я потом устроился более удобно: нашел две недурно меблированные и уютные комнатки и очень сносный и дешевый обед в кухмистерской. Все было бы хорошо, но меня серьезно устрашала перспектива быть мало-помалу если не задушенным тем самым «Рыбинским Листком», над которым я работал, то по крайней мере вытесненным вон из своего помещения. Посудите сами: подписчиков у нас было всего-навсего 200, причем 100 человек приходилось на Рыбинск, да 100 на все другие города и веси Российской империи; между тем печаталось каждого номера экземпляров тысячи полторы. И вся эта несметная кипа печатной бума-

ги складывалась целой горой в одной из моих комнат; гора эта с выходом каждого номера росла и росла, приводя меня в немалый трепет: что со мной будет, когда со временем она займет всю мою квартиру? Но этого еще мало: мокрая бумага прямо из типографии, складываемая возрастающей массой, начала преть, распространяя отвратительный запах. Для избежания этого Ухову пришлось запастись веревками, растянуть их по двору того дома, где мы обитали, и постоянно развешивать и просушивать нашу злополучную газету, как прачки развешивают в просушивают белье, затыкая висевшие на веревках листы шпильками, чтобы они не сбрасывались ветром на землю. Воображаю я, какое курьезное впечатление производили на обитателей Ярославля газетчики, которые, вместо того чтобы рассылать свою газету подписчикам, занимались ежедневно просушкой на дворе своих творений!

При всех этих условиях газета не обещала долгого и завидного существования. Первый подводный камень, какой встретился ей на пути, – был цензурный характер. Цензором над газетой был назначен рыбинский полицеймейстер Марков. Человек это был крайне добродушный и веселый, а главное дело – ему и без «Рыбинского Листка» было хлопот полон рот в таком бойком торговом центре, каким представляется Рыбинск. К тому же у него была страсть к картишкам, и все свободные часы от служебных занятий он просиживал за зеленым полем. До чтения ли ему было безграмот-

ных каракулек Жукова; он и подмахивал их, не читая, за карточным столом, в полной уверенности, что никаких злонамеренностей нельзя ожидать ни от хлебных преискурантов, ни от невинного балагурства издателя.

Между тем в № 20 «Рыбинского Листка», вышедшем 16 июля 1864 г. под заглавием: «Что делается в городе», было помещено следующее известие:

«11 числа, в 9 часов вечера, встретили в Рыбинске г. главноуправляющего путей сообщения и публичных работ, прибывшего в Рыбинск Мариинским путем, по р. Шексне, на пароходе «Смелый», купцов братьев Милютиных. Не лишним считаем сказать, как рыбинские граждане встречают высшее начальство. На дебаркадере пароходного общества «Дружина» с 6 часов пополудни собралось купечество: председатель биржевого комитета и старшины, городской голова и все члены градской думы, путейское и местное начальство. От купечества приготовлено было: хлеб-соль и три стерляди, стоящие, как говорят, 120 р.».

Далее затем Жуков не упустил случая посмеяться над подобострастием рыбинских купцов, которые едва завидели на горизонте дымок того парохода, на котором ехал Мельников, уже снимали шапки и стояли с обнаженными головами все время, как пароход медленно приближался к Рыбинску.

Вот эта именно насмешка и повела за собой неожиданный погром. Статья была по обыкновению пропущена Марковым без малейших затруднений, номер уже был напечатан, – и

вдруг обратил внимание на упомянутую статью человек, по-видимому, совершенно непричастный к газете в цензурном отношении, – именно, заведующий губернской типографией Лествицин. Будучи известным археологом, этот Лествицин сам по себе представлял удивительный антик, какие можно было встретить лишь в прежнее время в глухой провинции. Представьте себе, что он соединял в себе поклонение Прудону (я нашел у него собрание всех сочинений Прудона) с обожанием М. Н. Каткова, причем у него сложился в голове такой курьезный взгляд на тогдашнюю литературу, что вся петербургская пресса, не исключая «Современника» и «Русского Слова», состоит на жалованье у правительства, зато и восхваляет все совершавшиеся тогда реформы, и только один Катков представляет собою вполне независимую и неподкупную оппозиционную силу. Вот этот именно Лествицин, прочтя упомянутое известие, отправился к губернатору с номером «Рыбинского Листка» и объявил ему, что он не может выпустить из типографии номер с таким предосудительным глумлением над почтенным рыбинским купечеством за слишком усердное выражение с его стороны почтения к начальствующим лицам, заслуживающее во всяком случае уважения, а не порицания.

Губернатор внял донесению Лествицина и велел злополучный номер тотчас же предать сожжению. Сверх того, была сделана нахлобучка Маркову; он был отставлен от обязанности цензора «Рыбинского Листка», и цензуру газеты при-

нял на себя сам губернатор, поручив ее вице-губернатору, к которому я и обязан был ежедневно ходить с корректурами статей.

Это было начало конца. Вскоре затем все рыбинское купечество с самыми первыми тузами и воротилами восстало на Жукова, и он был позорно изгнан с рыбинской биржи городским головою. И еще бы! В своих обличениях он дошел до прозрачных намеков на то, что отцы и деды некоторых рыбинских тузов и воротил нажили свои миллионы вовсе не хлебной торговлей, а фабрикацией фальшивых асигнаций в эпоху Екатерины II. Рыбинские купцы послали просьбу министру внутренних дел о прекращении ненавистного им «Рыбинского Листка».

Но это было совершенно напрасно, так как дни «Рыбинского Листка» были сочтены и без всяких давлений свыше. Хотя Жуков и уверял, что газета его обеспечена на долгие годы дядюшкиными капиталами, но на деле оказалось, что все содействие дядюшки ограничивалось не более как двумя-тремя тысячами на первоначальное обзаведение. Этой суммы хватило, конечно, ненадолго; ненадолго хватило и тех денег, какие были собраны с 200 подписчиков, из которых чуть не половина оказалась бесплатными. Раз все эти ресурсы прекратились, газета остановилась в половине июля. Жуков поехал в Петербург искать новых займов для издания «Рыбинского Листка», а я остался, как рак на мели, в Ярославле проживать последние полученные от него крохи. Я и

забыл сказать, что никакого дохода от объявлений я и в глаза не видывал, по той простой причине, что никаких объявлений не было, а если когда они и печатались, то это были объявления бесплатные: длинные списки пароходных тарифов, которые я время от времени помещал без спроса хозяев единственно для того, чтобы наполнить столбцы номеров, так как с каждым днем материалу становилось меньше и меньше. В отчаянии я и сам было взялся за перо и написал длинную статью на несколько номеров, под заглавием «Купеческая правда» и с эпитафией «Правдой не разживешься», составленную мной по Прудону и некоторым статьям «Русского Слова».

Наконец я получил от Жукова лаконическую телеграмму: «Газета запрещена министром. Приезжайте в Петербург. Деньги возьмите в бумажном магазине, где у меня уплачено за бумагу 100 рублей вперед.

Я бросился в бумажный магазин, но там мне объявили, что не только они не должны Жукову ни копейки, но что, напротив того, он им остается должен за забранный товар 200 руб.

Положение мое было критическое, подобного которому я никогда еще не испытывал в жизни ни до того, ни после того. Без гроша денег в кармане я очутился в чужом городе, в котором почти никого не знал. К тому же я захворал, и ярославские коновалы лечили меня чисто лошадиными лекарствами от совершенно не той болезни, какая у меня была.

По счастью, нашелся добрый человек, который дал мне в долг двадцать рублей, чтобы доехать до Петербурга. Но этим не окончились еще мои злополучия: по дороге московские жулики украли у меня пальто, и вот я вернулся домой к своей матушке вполне блудным сыном: больной, прозябший, в одном сюртучке и, вместо тысяч, о которых я мечтал, наживший долги, которых у меня прежде не было.

Педагогическая деятельность

После погрома с «Рыбинским Листком» и моего злосчастного возвращения в Петербург в одном сюртучке и без гроша денег в кармане (то было в 1864 году) началась педагогическая полоса в моей жизни.

Надо при этом сказать, что хотя я не испытал такого яркого и завидного счастья, какое выпадает на долю некоторых избранников судьбы, и в общем жизнь моя носит довольно серенький, а порой даже и в достаточной мере сумрачный колорит, но в то же время (до сих пор по крайней мере) не было в ней никаких катастроф или таких безвыходных положений, во время которых человек готов лезть в петлю. Так, несмотря на то, что существование мое с университетской скамейки всегда исключительно зависело и до сих пор зависит от того, что я заработаю в данный месяц, ни разу не пришлось мне продолжительное время оставаться без работы и всяких средств к жизни. Самую продолжительную безрабо-

тицу испытал я после прекращения «Отечественных Записок» в 1884 г., когда в течение полугода приходилось мне с семейством из пяти человек существовать на 600 рублей, которые достались на мою долю по ликвидации «Отечественных Записок». В более же ранний период моей жизни всегда случалось так, что, как только прекращались одни занятия, не протекало и месяца, как я был уже при новом деле, причем мне не приходилось даже искать, хлопотать и домогаться заработка, а мне сами предлагали то или другое.

Так было и на этот раз. В двадцатых числах августа приехал я из Ярославля, а в начале сентября был уже при месте. Пока я занимался в Ярославле развешиванием по веревочкам злополучного «Рыбинского Листка», знакомый уже нам П. М. Цейдлер успел получить педагогический пост – директора училища Человеколюбивого общества (по Крюкову каналу, против церкви Николая Морского). В числе некоторых из моих университетских сотоварищей он пригласил и меня в качестве учителя словесности.

Училище это в настоящее время давно уже преобразовано в классическую гимназию и, снабжая воспитанников аттестатами зрелости, открывает им двери во все высшие заведения. В те же отдаленные времена оно вполне оправдывало собой пословицу: ни в городе Богдан, ни в селе Селифан, и представляло нечто поистине возмутительное. Это была шестиклассная школа, в которой некоторые предметы преподавались в размере гимназического курса, а другие (как, на-

пример, древние и новые иностранные языки) совсем не преподавались. Дети самых беднейших родителей, по большей части из чиновного пролетариата, выходили из подобного заведения в истинном смысле этого слова недоучками, убогими не только в умственном и нравственном, но даже и в физическом отношении, так как (заведение, не забудьте, было закрытое!) в течение шести лет их содержали на арестантском продовольствии, полагая на прокормление воспитанников по 10 к. в сутки. Истощенных таким образом и духовным и телесным голодом молодых людей выпускали почти без всяких прав на все четыре стороны. Наиболее счастливым удавалось пристраиваться куда-нибудь писцами, другие же не выдерживали борьбы за существование, не будучи ничем вооружены для этого и не имея ни малейшего запаса сил, и гибли. По крайней мере в продолжение долгих лет ко мне являлись многие из моих бывших воспитанников, не имевшие ни заработка, ни пристанища, в жалком рубище, со всеми признаками алкоголизма и с мольбами о подаении, и приходилось, оказывая им посильную помощь, невольно в то же время угрызаться совестью при виде столь блестящих результатов моей педагогической деятельности. Но мало-помалу смущающие совесть призраки стали являться реже и реже, наконец и совсем исчезли: должно быть, все угомонились!

В течение учебного 1864/65 года я ограничивался в этой школе занятиями по словесности, не входя в близкое зна-

комство и соприкосновение с внутренними порядками училища и внося весь свой молодой жар в тогда новое еще для меня дело, и оно пошло отлично. Мне не стоило ни малейшего труда завоевать расположение своих учеников, но и Цейдлер был столь мною доволен, что, одобряя составляемые мной в течение курса записки, обещал даже издать их впоследствии на свой счет. По всей вероятности, мне удалось бы прослужить под начальством его не малое количество лет. Но поистине не в добрый час пришло вдруг в голову моему начальнику предложить мне, сверх моих учительских обязанностей, еще место воспитателя в двух старших классах. Мне открывалась приятная перспектива получить казенную квартиру при училище, а пока я отправился вместе со всем училищем и с директором во главе пешком на дачу в 3-е Парголово.

Училище было расположено в 3-м Парголово, в трех дачах. В одной, самой большой, помещались четыре младшие класса. В другой, маленькой, жил я вместе с двумя старшими классами; как раз против моей дачи – в третьей – поселился сам Цейдлер со всем своим семейством.

В качестве воспитателя мне пришлось сразу окунуться во все ежедневные дразги и закулисные тайны училищного быта, и не прошло и трех месяцев, как в августе уже отношения мои к Цейдлеру сделались столь враждебными, что я принужден был открыто и со скандалом разорвать с ним, бросить дело и уехать в Петербург.

С самого моего вступления в исполнение новой обязанности и с приезда в Парголово мое сердце разрывалось на части при виде того, как кормят воспитанников. И к тому же это было не одно наблюдение, а личный опыт, воспитатели ели вместе с воспитанниками за одним столом, причем им полагалась двойная порция. Но эта двойная порция была столь скудна, что приходилось присоединять к ней, по крайней мере, бутылки три молока, чтобы быть сытым. Каковы же были порции воспитанников? Прибавьте к этому затхлые и порой до полного отвращения гнилые продукты, что делало содержание воспитанников еще более ужасным, так как к хроническому голоду присоединилась еще постоянная опасность отравиться.

Но и самая система воспитания не замедлила открыться передо мной в самом ужасном виде.

Я весьма далек от того, чтобы писать ни с того, ни с сего какой-то обвинительный акт против человека, давно мирно почившего на Волковом кладбище и всеми забытого; еще более далек от того, чтобы себя возвеличивать на счет него. Будучи человеком 40-х годов, Цейдлер усвоил вполне искренне кое-какие гуманные идеи своего века, выдавая себя даже за приверженца Ог. Конта, и, бесспорно, имел свои неотъемлемые достоинства. Из рассказов воспитанников можно было вывести заключение, что до него порядки в училище представляли собой нечто еще более ужасное и со вступлением его в должность директора начались в училище золотые вре-

мена, так что общее мнение о нем в училище было для него весьма благоприятное. Вся беда заключалась в том, что он принадлежал к старой педагогической школе, ею был воспитан и ее практиковал в долгие годы своего продолжительного служения в Гатчинском институте, славившемся некогда крайне суровым режимом. Старая педагогическая школа, основанная на военной дисциплине и поддерживаемая чувством страха, была такой стройной и законченной системой, в которой каждый винтик на своем месте имел свое значение, и пренебрежение ничтожной гаечкой грозило распадением всего здания.

Так, мне на первых же порах показалось каким-то чудовищным лицемерием, что человек, прикидывающийся самым гуманным и возвышенно честным, мог допускать во вверенном ему заведении такие вдруг ужасы, как розги и шпионство воспитанников. Я не подозревал тогда еще, что и то, и другое органически вытекает из самой системы, составляет ее неотъемлемые принадлежности. В самом деле, мыслимо ли соблюдение этой системы без целой серии наказаний, прогрессирующих по своей строгости, причем, если вы выведете из употребления розги, все равно вам придется заменить их другими наказаниями, не менее жестокими в высших их степенях. Что же касается шпионства, то, если вы ни малейших забот не станете прилагать к организации его, а, напротив того, будете гнушаться им, все равно оно независимо от вас явится к вашим услугам: вы и не заметите, как

два-три воспитанника с подленькими душонками, наиболее падкие попадаться начальству на глаза и увиваться вокруг него, между разговорами донесут вам о затеваемом против вас заговоре, – ну, и как же вам не предупредить его для пользы самих же воспитанников и для общего спокойствия?

Таким образом, все выходило как-то само собой у моего начальника: как гуманный человек, он не отдавал приказаний пороть воспитанников, но когда воспитатели младших классов собственноручно пороли их, он им не препятствовал. Точно так же и шпионства умышленно он не организовал, но у него были свои любимчики из воспитанников, которые льстили ему, юлили перед ним, а его педагогическое самолюбие умилялось, что вот какой он директор, как его воспитанники любят! Он принимал их к себе в дом в качестве друзей, и они в откровенно-дружеских разговорах сообщали ему все, что ему было нужно или интересно знать.

Читатель, конечно, вправе возразить мне: зачем же Цейдлер держался старой рутины и в какое притом время: в самый разгар педагогических реформ, когда Ушинский, Водозов, Резенер, Герд и др. вносили в педагогические сферы такие новые и благотворные веяния? Но нужно при этом принять следующего рода смягчающие обстоятельства. Цейдлеру было далеко уже за 50 лет; в такие годы человеку трудно бывает уже отвыкнуть от старых привычек и переучиваться. В то же время, будучи обременен огромным семейством и выдержавши тяжелый финансовый кризис после крушения

«Иллюстрации», он был рад пригреть свои старые косточки на тепленьком местечке, и не до того ему было, чтобы производить ломку и над собой, и во вверенном ему училище, не зная, как еще посмотрит на это начальство. Он и ограничился тем, что оставил все по-старому и только смягчил излишнюю суровость прежних порядков.

Что же касается меня, то, чуждый каких бы то ни было педагогических знаний, а тем более опытности в деле, за которое взялся впервые, я в то же время весь был охвачен передовыми идеями века и вторгся в господствовавшую в училище старую систему посторонним клином, нарушившим все движение машины. Никакими опасными пропагандами я не занимался, не будировал, не рисовался каким-либо Базаровым, не критиковал, не отрицал и никаких крупных скандалов и недоразумений не произвел. Все разногласие мое с общим строем училища заключалось, по-видимому, в таких мелочах, которые не стоили и выеденного яйца; прочие воспитатели, например, еженедельно, а в экстренных случаях и чаще, сообщали директору о предпринимаемых ими мерах против дурного поведения воспитанников и испрашивали у него советов, как им поступать в том или в другом случае. Я же никого не наказывал, никаких мер не предпринимал, советов не спрашивал и заявлял постоянно о полном довольстве своими воспитанниками. Прочие воспитатели заставляли своих воспитанников идти в столовую или в парк на прогулку не иначе, как шеренгами по два в ряд и мер-

ным военным шагом. Я этого не делал, полагая, что воспитанники старших классов могут быть избавлены от подобной субординации, и они ходили у меня врассыпную, причем я допускал, что и в столе, и в прогулке мог и не участвовать, кто не желал. Директор дозволил воспитанникам старших классов гулять по селу одним, без воспитателя, лишь бы они не отлучались далее села в парк. Не возражая против этого предписания, я в то же время не был в состоянии исполнить его, не имея возможности уследить, чтобы воспитанники не удалялись за положенные пределы. Для этого нужно было бы в каждом конце села поставить по сторожу или же удерживать воспитанников от нарушений предписаний страхом каких-нибудь драконовских мер, что совсем было не по мне. Вот такие-то мелочи мало-помалу и привели к тому, что воспитанники чуть не носили меня на руках, а Цейдлер в один прекрасный день заявил мне, что я мало того что распустил вверенных мне воспитанников, но поселил среди них дух строптивости, неповиновения и недовольства. А посему он считает долгом подтянуть воспитанников и назначить им более строгого воспитателя. Мне только и оставалось, что раскланяться и, сложивши свои немногочисленные пожитки в маленький чемоданчик, уехать в Петербург в глубоком сокрушении, утешаясь только тем, что воспитанники толпой высыпали из дачи, когда я садился в телегу, и трогательно прощались со мной, благодаря за все мои о них попечения. Это имело вид маленькой демонстрации, так как

происходило перед окнами директора.

Воротившись домой, я остался снова, что называется, на бобах, но счастье и тут не оставило меня. В сентябре я получил новое место учителя русского языка в младших классах в одном из самых аристократических женских институтов. Здесь мне удалось пробыть целых два года. Инспектор, почтенный старичок, большой любитель русской словесности и шекспироман, благоволил ко мне: с воспитанницами я также поладил и имел много обожательниц; но женский персонал заведения, начиная с престарелой директрисы, женщины ультраконсервативных взглядов и страстно любившей чиновничество и подбострастие, и кончая всеми инспектрисами и классными дамами, вскоре поголовно возненавидел меня. Более всего оттолкнула их от меня, конечно, моя плебейская неуклюжесть. Мне поставили в вину, что я не умею ни встать, ни сесть, ни поклониться как следует, ноги держу Бог знает как: закладываю, например, сидя на стуле, одну на другую, употребляя самые тривиальные слова, вроде (*fi done!*) шиворот-на-выворот. Начальница же более всего вознегодовала на меня за то, что я осмелился в третьем классе читать отрывки из «Вечеров на хуторе» Гоголя, этого грязного, по ее словам, писателя, который оклеветал Россию. При таких условиях через два года мне предложили оставить заведение.

Не буду распространяться о своей дальнейшей педагогической деятельности. Скажу коротко, что долее всего я

удержался в той самой Ларинской гимназии, где прежде сам учился. Здесь я преподавал русский язык в трех младших классах, и меня терпели пять лет, с 1866 года по 1871, несмотря на то, что в это время я успел уже сделаться постоянным сотрудником «Отечественных Записок». Терпели бы, может быть, и долее, но в 1871 году вышел новый гимназический устав, по которому сверхштатные учителя должны были преподавать без жалованья. Даром тянуть учительскую лямку я не был согласен; штатных вакансий в Петербурге не было, а ехать в провинцию я не желал, – и я покончил навсегда с государственной службой. В продолжение трех лет потом я все-таки занимался еще педагогией, преподавая русскую словесность в старших классах одной частной женской гимназии. В 1875 же году я расстался навсегда с педагогией, какой бы то ни было, как казенной, так и частной, так как более в ней уже не нуждался.

Педагогические занятия, особенно в первые три года (с 1864 по 1867), совсем почти отвлекли меня от литературы. Я только и успел в это время, что называется, мельком написать два фельетончика. Один из них был написан мною в 1865 г. под сильным впечатлением чтения только что вышедшей в то время исторической драмы Островского «Воевода». Долго не знал я, куда мне девать эту вылившуюся из-под моего пера как-то произвольно статейку, наконец надумал послать ее г. Старчевскому в «Сын Отечества». Г. Старчевский вскоре напечатал ее в своей газете. Она заняла столь

большое место в нижних столбцах газеты, в фельетонном отделе, что я шел в роскошный дом Монферана, – которым в то время владел г. Старчевский и где помещались редакция и контора «Сына Отечества», – с радужной мечтой получить никак не менее двадцати пяти рублей, и, каково же было мое разочарование, когда за мой фельетон отсчитали мне всего-навсего семь рублей с копейками. После того я всегда со стесненным сердцем проходил мимо дома Монферана и никому не говорил о своей попытке сотрудничать в «Сыне Отечества».

В том же 1865 году я написал другой фельетон, в котором провел новый взгляд на Рудина, в оппозицию мнениям о герое Тургенева, высказываемым в то время Писаревым. Фельетон этот имел более счастливую участь. Я показал его своему большому приятелю Александру Васильевичу Топорову, вращавшемуся в то время в самых передовых литературных кружках и имевшему на меня большое влияние. Ему понравился мой фельетон, и по своим литературным связям ему ничего не стоило пристроить его в некоей газетке, носившей название «Народная Летопись». Газета эта существовала весьма недолго и прекратилась по какому-то цензурному недоразумению, если память мне не изменяет, всего на 13-м номере, весной в 1865 году. Издавалась она артелью и инкогнито, причем не только ее владельцы и редакторы, но и сотрудники не подписывались под статьями; так было принято, и во всех номерах газеты вы не найдете не только

ни одной полной подписи, но и ни одного инициала, и мой фельетон, напечатанный как раз в последнем номере газеты, вышел без подписи.

Фельетон этот был замечателен для меня тем, что послужил мне доводом для сближения с Д. И. Писаревым.

Из сборника А. М. Скабичевского «Кое-что из моих личных воспоминаний».